



Мышиные  
песни

Павел  
Пономарёв

ЛОТТЕ РУС  
HOTEL & CONFECTIONERY



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  
«ЛИЦЕЙ»  
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
И ПОЭТОВ

Rideró

Павел Пономарёв

**Мышиные песни**

«Издательские решения»

**Пономарёв П.**

Мышиные песни / П. Пономарёв — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-968513-1

Сборник «Мышиные песни» — итог размышлений о том о сем, где герои — юродивые, неформалы, библиотекари, недоучившиеся студенты — ищут себя в цветущей сложности жизни. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-968513-1

© Пономарёв П.  
© Издательские решения

## Содержание

Беглец	6
Пожилой мальчик	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# **Мышиные песни**

**Павел Пономарёв**

*Иллюстратор* Наталья Дрилёва

© Павел Пономарёв, 2019

© Наталья Дрилёва, иллюстрации, 2019

ISBN 978-5-4496-8513-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Беглец

1

Посреди снежной пустыни, насквозь продуваемой ветрами, неуклюже, как скворечники, были воткнуты брошенные избы. Внешне они ещё сохраняли своё лицо – бревенчатые стены, крыши, ставни, ограды, но внутри домов царили холод и пустота. Предприимчивые хозяева переехали в город. Остались лишь те немногие, кому нечего было терять: одичавшие философы поневоле и старухи, доживающие свой век.

Помнится, в девяностые, мы с отцом искали в этих краях дачное место – какую-нибудь дешёвую избу с пятью сотками у забоки. Брошенных домов и тогда было немало. Как тать я проникал в чужие избы и с удивлением обнаруживал оставленные хозяевами вещи. Много было нетронутым: старая мебель, посуда, книги, настенные часы. Прошлая жизнь людей мистически продолжалась в позабытых предметах, к которым и прикасаться-то было страшно, как к церковной утвари. После мы купили один из домов, очень ветхую избу, как и хотели, у самой забоки. Забока представляла собой смешанный лесок, тянувшийся вдоль берега Алея, на краю деревни. Вот сюда-то я и приехал со своим рюкзаком.

Последний узел, связывающий меня с цивилизацией, был развязан, ибо чёрные тополя у реки видели, как мой телефон, совершив акробатический трюк, улетел в дальний сугроб. Я не стал смотреть, кто звонит, то ли от гордости свободного человека, то ли от страха вернуться в прежнюю жизнь. Музыка Баха доигрывала последние такты, когда я подходил к забору и недоверчиво всматривался в неподвижную законную тьму.

2

В новом жилище оказалось достаточно разного рода вещей, чтобы существовать. Дом состоял из двух комнат и холодной сарайки, которую после я завалил кучей хвороста, благо забока была рядом. В большой комнате, ставшей местом размышлений и спальней, находилась железная кровать. Справа от кровати, возле окна висела книжная полка, на которой вместо книг пылилась бумажная икона и чернел кусок хозяйственного мыла. Там же был стол, украшенный сухими цветами в стеклянной банке, и пара стульев. Другая – небольшая комната, где находилась русская печь, служила кухней.

Первое, с чем я начал бороться, это пронизывающий до костей холод. Он был всюду. Казалось, холод зарождался где-то на розовеющем степном горизонте, затем невидимым остриём пронзал обмороженные сучья глуши, пробирался к жилищу и сквозь многочисленные щели вползал в незащищённое огнём пространство, где был человек. Этот человечешка смешно приседал, суетился, неумело складывал хворост и ронял спички на промёрзшие доски. Наверное, холод сравнивал меня с теми старожилками, которые благоговейно склоняются над печью и через мгновение рожают пламя. Холод смеялся.

Вскоре изба ожила. На печи в ржавом ведре парил кусок январского сугроба. В доме было грязно, и я решил вымыть пол и стереть пыль с немногочисленной мебели. Уже в сумерках, при мигающем свете керосиновой лампы, я принялся разбирать рюкзак. Половина накопленных с академической стипендии денег была потрачена на консервы, спички, сигареты и прочие вещи, необходимые в быту. Другую половину оставил на жизнь. Хотя я точно и не знал, есть ли в этой глуши жизнь, да и не слишком-то задумывался о завтрашнем дне. Ощувив домашнее тепло, я снял с себя куртку и закурил. На столе темнела стопка привезённых книг – на случай, если мозг начнёт давать сбои и придётся умирять его с помощью готовой реальности.

Русская печь, вросшая некогда в основание избы, пробудила древние запахи жилища. Я чувствовал то горечь степной полыни, то сладковатую вонь июльского хлева, то пчелиные ароматы зимовника. Всё здесь было просто и страшно. Моя изба была, конечно, язычница. И я отдавал должное её поверьям, подкладывая в огонь острые сучья, стараясь делать это вдумчиво и неторопливо. Мне подумалось – как же хорошо сидеть здесь одному, молчать, и быть самим собой.

Я перерубил провод, связывающий меня с миром, но осталась память. Надев валенки, я вышел в беззвучную тьму, лишь через минуту разглядев очертания двора и – вдали – плотную лесную глушь. Память надеялась уколоть мыслями о городе, о суетном прошлом, но древний холод и дивная тишина этих мест делали мысли беспомощными. Они растворялись в хаосе ночного неба – без единой звезды. Во всём этом безмолвии было много жизни. Казалось, древние духи и ныне живут здесь: в деревьях, в старых колодцах, в стенах и половицах моей избы. Духи присматриваются, принохиваются ко мне, чуя смрадную вонь большого города, но пока не трогают, наблюдают, что со мной станет потом.

Спать я лёг одетым, не решившись доверить наготу необжитому месту, подумав, что и дом со своими духами считает меня пока что чужаком. От усталости заснул я довольно быстро.

### 3

Наутро я увидел страшный сон. Передо мной стоял бородатый человек лет тридцати, в грязной фуфайке и валенках, и угрожающе размахивал руками, не произнося при этом ни слова. Он только мычал и выразительно лупал большими голубыми глазами. Поняв, наконец, что это не сон, я попытался сообразить, что ему от меня нужно. Мельком вспомнил, что ночью не запер уличную дверь на засов, и это меня испугало. Тем временем язык жестов пришельца сообщал, что его не нужно бояться, что он свой: лицо с вытаращенными глазами сделалось подчёркнуто незлобивым и улыбалось. Всё его поведение выражало детское «давай дружить», но мне, добровольному затворнику, эта идея не очень-то нравилась. Уехав от людей, я и не думал встречаться здесь с кем бы то ни было, тем более с сумасшедшими.

Пока я напяливал куртку, немой суетился у печи и, кажется, собирался её растопить. Поскольку я не вставал ночью и не подкладывал дров, изба почти остыла. Молча наблюдая, как неизвестный чиркает спичками и мнёт газетную бумагу, не переставая улыбаться, я чувствовал себя беспомощным идиотом. Наконец, достав из рюкзака ручку с блокнотом, я жестом подозвал немого и написал: «Я не вор. Это дом моих родителей. Приехал собирать фольклор». Пришелец с интересом прочёл сообщение и добавил от себя корявым почерком: «Я Федя. Увидел следы... (нрзб.) что за хрень... (нрзб.) решил посмотреть». Продолжение переписки представляло собой примерно следующее.

Я: – Здесь ещё живёт кто-нибудь?

Он: – Две бабки в низинке, одна мёртвая.

Я: – Что ты тут делаешь?

Он: – Бухаю. Жена бросила... (нрзб.) хожу на прорубь.

Я: – В деревне есть магазин?

Он: – Раз в неделю... на грузовике...

Я подумал: это хорошо, что он немой. Деревня словно бы запрещала произносить лишние необдуманно слова, но только самые нужные – из глубины сердца. Гость исчез так же неожиданно, как и появился, оставив после себя тепло и крепкий древесный запах перегара.

### 4

В течение дня я лениво слонялся по дому, подолгу смотрел в окно на черневшие избы, пару раз выходил во двор по нужде. Открыл банку консервов, но ел без аппетита. Лёжа на кровати, наугад брал привезённые книги, открывал, где придётся, читал и сознавал, что читаемое мне неинтересно. Всякий раз мне слышался бубнящий в самое ухо голос автора, объяснявший какие-то важные проблемы о человеке, свободе, войне... Каждое слово – амбиция, каждая фраза – попытка заявить о себе в вечности.

Здесь я отдыхал от городского многословия, очищался от информационной блевотины, где одно высказывание имело в себе тысячу подтекстов и в итоге оборачивалось ничем. В деревне же царила немота. Редко где залает собака или ветер заденет сухую траву. Умом я понимал, что это и есть жизнь, что в тишине – красота, что нужно отбросить всё лишнее и просто быть счастливым. Но одиночество напоминало о себе... как старая, лишь на время затаившаяся болезнь.

Когда я услышал беспокойный стук в окно, был уже вечер. Я выглянул, но увидел лишь заснеженный по горло забор и деревенскую немоту. Через минуту вошёл Фёдор. Он улыбался, мычал и застенчиво суетился на пороге, шурша жёлтым пакетом. Изба услышала глухой звук. К моему удивлению на столе появилась крупная зелёная бутылка с самогоном. «Наверное, так надо», – подумал я и страшно обрадовался.

Мне не приходилось выпивать с глухонемым человеком. Я разлил самогон по стаканам и открыл консервы. Мы молчали и, улыбаясь, смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, он видит меня насквозь, но отвести взгляда я не мог. Иначе – как бы мы понимали друг друга...

Глаза Фёдора были ясны и выразительны, как у ребёнка. Я пытался представить ту белую тишину в его голове, не знавшей ни шума природы, ни музыки человеческой, способной вывернуть душу наизнанку – стереть в пыль или же опрокинуть в божественную красоту. Впрочем, бессмысленного шума в мире куда больше, чем музыки. Глухота обостряла зрение и позволяла видеть человека, природу, время – как бы изнутри. Словесная паутина не зашоривала реальность. Такой взгляд невозможно обмануть.

Мы выпивали, а Федя что-то «рассказывал», и всё его подвижное тело было подчинено мысли. Когда он бил кулаком по ладони, словно заколачивал гвозди, я понимал, что речь идёт о его суке-жене. Когда рука указывала в сторону реки, а голубые глаза его становились величиной с небо, я догадывался, что Федя говорит о рыбалке и о том, какая неведомая рыба водится в его проруби.

Довольно скоро я захмелел, за окном было темно. Федя яростно дирижировал невидимым оркестром, исполнявшим симфонию его жизни. В этой музыке было всё – и радость и одиночество, и отчаянный призыв налить ещё. Я слушал и блаженно созерцал пустеющую бутылку. По избе медленно, как осенняя паутина, плавал табачный дым, превращая реальность в сновидение...

## 5

Не помню точно, как мы оказались на улице. В распахнутой куртке и сигаретой в зубах я наблюдал впереди силуэт Фёдора, решительно уходящего в темноту. Стоило бы тогда предположить, куда он меня тащит в самую ночь, но я ему доверял и расценивал данное происшествие как новый приключенческий манёвр. «Наверное, так надо», – снова подумал я.

Казалось, не прошло и пяти минут, когда мы подошли к бревенчатой хибарке, в окне которой горел странный мерцающий свет. На самом деле мы плелись по сугробам не меньше часа. Рук я не чувствовал, и попытка закурить кончилась тем, что выронил все сигареты в снег, вместе со спичками.

Войдя в чужую избу, я не ощутил ожидаемого тепла. Мой взгляд скользнул по длинному домотканому половику, ведущему из кухни в зал, и в ужасе застыл на раскрытом гробу

с покойницей. В гробу желтела сморщенная старушонка, крепко держа своими скрюченными пальцами церковную свечку.

– Замерзли, небось, а я и не топила, чтоб Марфушу не потревожить, – сказала вторая, живая старушка, приветливо качая головой.

Больше в избе никого не было.

– Вот хорошо, Федя, что друга привёл, будет с кем могилку для Марфуши выдолбить, – пропела бабушка. – Он пишет, вы учёный, хальклор собираете. Я, грешным делом, подумала – мож, человек по Марфуше хоть Псалтирь почитает. Я-то ослепла совсем, а Марфуша дюже сильно в Господа веровала, царство ей небесное... отмучилась...

Старушка захохала, закачалась, я уж подумал, что сейчас расплчется и запричитает. А она только коснулась ладонью ног умершей подруги и, тихо улыбаясь, смотрела.

– Вы не стойте, – снова заговорила она, – мож, вам с морозу водочки налить? Я ведь припасла на поминки-то.

Бабушка усадила нас за стол. Мне она налила крепкого чая с чабрецом и пододвинула тарелку с пряниками, к которым я так и не притронулся. Феде поставила рюмку водки, порезав на закуску рыбный пирог.

– Кушайте, не стесняйтесь. Вам силы нужны – мёрзлую-то землю колупать. Ежели Степан до завтра на машине поспеет, оно и легче втроем-то... Да он, говорят, запил. Люди вторую неделю хлеба не видят. Мне так внучка к поминкам привезла всего, еле добралась... «Степан в жопе чурбан» – так его в детстве дразнили, прости господи... А у Марфуши кроме меня никого. Не дай бог так вот одному век доживать. Да теперь ничего, отмучилась...

Хозяйка налила себе рюмку водки, выпила зараз, чуть занюхав рукавом, и продолжила:

– Мы ведь с ей с юности ещё дружили... при колхозе. Я на тракторе, она – дояркой. Мужики-то все на войну ушли. Вот бабы и держали колхоз... Помню, как она с похоронкой-то прибежит, да как заголосит: «Ой, Маруся, без мужика я теперича, повешусь я». Бог миловал, языком только болтала. А после того, значит, как муж её погиб, шибко боговерующая она стала, прям как монашка. Иконы дедовские на чердаке отрыла, платок себе чёрный на голову повязала – чисто монашка! Вот, Марфуша, – повернулась она в сторону гроба, словно оправдываясь, – людям рассказываю про жизнь нашу горемычную, а ты отдыхай... Ну вот. А время-то лютное было: нет, говорят, Бога... и всё тут. Над ей уж и люди стали посмеиваться, а она своего церковного не оставляет. Когда в город разрешили выезжать, после этого уже, Сталина-то, она и в церковь стала ездить, на свою-то голову. А там батюшка её не то остриг не то подстриг, я уж и не знаю, как это у церковных людей называется. Только после этого она совсем молчуньей стала: из дому не выходит, сидит, бусины перебирает. Она из старых бус чётки себе молитвенные сделала. Одним хозяйством только и кормилась...

Пока старушка рассказывала, я окончательно протрезвел, а Федя мирно посапывал, уснув в позе школьника за столом. На кухне, где мы сидели, пахло старушечьими вещами и ладаном. В красном углу горели свечи. Духа, которого я немного побаивался, не было, и хозяйка, словно прочитав моим мысли, ответила:

– Высохла Марфуша, не пахнет совсем. А ты, сынок, возьми Псалтирь-то, почитай на покой души подруги моей. Да и оставайтесь-ка у меня на ночь, я вам на топчане постелю. Куда вам теперь идти... ночью-то. А утречком пойдёте уж могилку ковырять.

Как ни странно, такой поворот событий меня не удивил. Я взял старую книгу, опасливо подошёл к гробу, стараясь не глядеть на покойницу, сел на поставленный рядом стул и начал читать с первой страницы: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь...»

Утром, омочив страшные лица под рукомойником, мы с Фёдором отправились на кладбище. По дороге зашли в его лачугу, укромно стоявшую у берега реки, – взяли два лома и лопаты.

Если бы мне пришлось когда-нибудь снять фильм, то изобразил бы я эту картину примерно так: раннее январское утро, кругом белая тишина. Только хруст наших шагов – на целые километры. Мы с Фёдором, как два партизана, в фуфайках и валенках, медленно бредём по степи в сторону размазанной по горизонту редкой опушки, где темнеет кладбище. Со стороны забоки тревожно каркает вороньё, напоминая о *крае долготерпенья* и о той красоте, что *сквозит и тайно светит* в бесконечности русского пейзажа. Навязчиво цепляется мысль о ночном сновидении, хотя спал я паршиво, да и сон приснился, должно быть, ближе к утру. Я увидел, как покойница встала из гроба, подошла к столу, опрокинула рюмку водки и, повернувшись в сторону моей лежанки, тихо и с упрёком проскрипела: «Ты хоть бы о матери подумал, стервец». И легла обратно в гроб.

«Под сосёнкой просила Марфуша», – вспомнился благодостный распев бабы Маши. Хотя какие тут могут быть сосёнки, рассуждал я про себя – тополь да ива. Но когда мы добрались до места, я действительно увидел небольшую чахлую сосну, вероятно, посаженную кем-то «для красоты». Тут мы и стали долбить.

Я начал работать ломом резво, отчаянно, как если бы откапывал сокровища. Федя покурил в стороне, созерцая мой труд, и что-то смекал. Я не раз любовался подобной картиной в городе, где какой-нибудь работяга, стоя по колено в грязи, выковыривает провод, а другой, наблюдая и покуривая, проникает в метафизику происходящего. И никто не возмущается, сознавая значимость физического делания и действенного созерцания.

Увлёкшись работой, я не заметил, как Федя отлучился и принёс охапку хвороста из забоки. Подумал, что он хочет развести костёр, чтобы мы согрелись и отдохнули. Но когда он положил ветки на будущую могилу и поднёс спички, я был поражён своей глупостью: разогретая твердь комьями отлетала в стороны, а остриё лома с каждым взмахом уходило всё глубже и глубже в недра могильной земли...

Обратно мы шли около руин полуразрушенного коровника, разобранный на кирпич, – задумчивые и голодные. Тускло светило солнце. Я не знал, который теперь час и как долго я вообще нахожусь в этом месте. В голове было как в глухой кадлушке – темно и пусто. Испарялись готовые фразы, остроумные мыслишки, как ненужные в этой тишине. Не знаю, думал Фёдор о смерти или о своей жене с малолетним сыном, скучал он или был счастлив... Позыв к любительской психологии рождается от безделья и сытого желудка, а мне было не до того. Нужно было похоронить старушку, пока не началась вьюга и не замело протоптанную тропу.

Вернувшись в свою избу, я первым делом затопил печь и поставил на чугунную плиту ведро со снегом, решив, наконец, помыться. Завтра – похороны Марфуши, и почему-то я переживал это событие как что-то мне близкое, не знаю почему. Может, потому что читал Псалтирь над покойницей... или потому что долбил для неё свежую могилу. Как бы то ни было, эти вещи делали меня причастным к происходящему здесь, в деревне.

Стоя нагишом в тазике и намыливаясь куском окаменевшего мыла, думал: приедет или не приедет на грузовике Степан, что он за человек и какое имеет отношение к деревне. Я и не заметил, как стал жить новыми именами, запахами, образами, наполнявшими древнее пространство моей добровольной ссылки...

Знакомство со Степаном произошло в избе бабы Маши, куда я отправился ближе к вечеру, чтобы помочь с похоронами. За столом сидел угрюмый человек лет пятидесяти

с большим животом и лицом водителя городского автобуса. Я вежливо поздоровался и сел на лавку.

– Ты, что ли, приезжий? – выдавил Степан, не глядя на меня.

– Я, – улыбнулся я ему.

– И на кой тебя сюда занесло? Сидел бы лучше дома, мамкины пироги ел. Мало ли по деревням спивается, – покосился он на Фёдора, который был тут же и чистил у печи картошку.

– Да учёный он, халькlor собирает, – вступилась баба Маша. – Ты скажи спасибо, что помощник нашёлся. А то надежи на вас... тьфу, – вздохнула хозяйка, не переставая мешать тесто для поминальной стряпни.

Степан выдержал паузу, покашлял в кулак и, поглаживая плешь, сказал:

– Ну, пойдём, учёный, покурим, что ль.

И мы вышли во двор покурить.

По грустным глазам и ленивой фигуре Степана было видно, что он человек добрый, и меня забавляло то, как он напускает на себя важность. Дело его заключалось в том, чтобы по выходным привозить из города в глухие селения продукты и то, что попросят люди. Деревенские называли его фургон «лавкой». Иногда он обменивал магазинные продукты на своё мясо, творог, яйца, чтобы продать на городском рынке подороже. Тем и жил. Степан был когда-то женат, в молодости играл в заводском оркестре на трубе, читал Стругацких, но в девятые всё пошло к чёрту. На последние деньги он приобрёл старенький грузовик и стал шофёрить.

– Что, красиво? – спросил Степан, заметив, что я гляжу в сторону забоки.

– Красиво, – нехотя ответил я.

– Красиво... – передразнил Степан и с прищуром затынулся. – Тут не в красоте дело. Тут всё детство моё прошло. Вон то дерево видишь? Слышь, чё говорю... видишь здоровый тополь возле коровника?

– Вижу.

– Так вот, когда я в школу начал ходить в Бобково, деревня тут в пяти километрах, он был ростом с эту лопату, – показал он на воткнутую у крыльца лопату. – И каждый день я мимо него ходил и наблюдал, как он подрастает. А теперь смотрю я на него... – запнулся Степан и, отвернувшись, высморкался. – Понимаешь, о чём толкую?

– Понимаю.

Немного помолчали.

– А я вот тебя не пойму. Чего дома не сидится? Тут до вечера-то пробудешь – тоска гложет.

– Частушки собирать приехал.

– Студент, что ли?

– Ага, студент.

Нашу недолгую беседу нарушила хозяйка – позвала ужинать. Покойница уже не производила на меня того жуткого впечатления, как прежде. Я даже готов был подержаться за её вязанный тапок, как делал в детстве, когда умер дед, но понимал, что выглядело бы это странно. Фёдор сутился у стола, думая во всём угодить бабе Маше: расставлял и переставлял чашки, со звоном ронял алюминиевые ложки, нарезал огромными ломтями домашний хлеб. Хозяйка незлобно ворчала на помощника, пряча едва заметную улыбку в морщинистом лице:

– Ты меня хошь вслед за Марфушей в гроб свести? А ну иди отсель, руки вон лучше помой.

А Фёдор понимал только то, что бабушка жалеет его и любит. И он тоже жалел и любил её за доброту.

Ночью у меня начался жар. От старушки я пришёл уставший и сытый, растревоженный мыслями о том, что напрасно я связался с новыми людьми, которым приходилось лгать и тем самым нарушать странную, приятную тишину здешней моей жизни. Не хотелось растапливать остывшую печь, идти за дровами в холодную сарайку, где так явно слышались мышинные шорохи. Я долго не мог уснуть, ворочался. В голые ничем не занавешенные окна проникал мертвенно-бледный свет луны, делавший комнату похожей на освещённый фонарём погреб. Я то укрывался целиком, ёжась и кутаясь в мышиную вонь одеяла, то раскрывался полностью, чувствуя, что начинаю задыхаться...

8

Похороны прошли без меня. Утром зашёл Степан со словами «Дрыхнешь, студент?». Но когда увидел, что я болен, взялся растапливать печь и напоил меня чаем.

Весь день я пролежал в кровати, думая о своём отшельничестве и о том, как там хоронят теперь старушку. За окном тёмная пелена затягивала белесое небо над забокой. Снаружи вьюжило, и мрачно подвывала печная труба... Я то медленно уходил в сон, забываясь, то резко просыпался от размашистых ударов ставен, бухающих о стекло. Порой завывание вьюги отзывалось в больной голове далёкими звуками трубы, и тогда я с удивлением думал – не Степан ли играет над могилой эти протяжные траурные ноты...

Проснулся от звука хлопнувшей двери. Услышал голоса и лицом почувствовал морозную свежесть. Мне показалось, что кроме знакомых голосов Степана и бабы Маши появился ещё один – женский.

– Как ты, студент? – с порога хрипел Степан. – Хвораешь? Вставай, самогонкой мы тебя быстро вылечим.

Мне было и стыдно и приятно играть роль больного. Я ответил нарочито слабым голосом, что сейчас встану. Хотя двигаться, о чём-то разговаривать, улыбаться – сил не было.

– Ой, сыночек, да как же так, – запричитала баба Маша, – где ж ты вздумал простудиться? Только Марфушу схоронили, а тут...

– Ничего-о, – вовремя урезонил Степан, – вылечим твоего студента, не бойсь.

Я поднялся с кровати, причесал кое-как ладонями грязные слипшиеся волосы и вышел на кухню. Возле окна в чёрном платке и валенках сидела девушка, склонив голову и тыкая кнопки телефона. Я поздоровался.

– Здравствуйте, – скромно ответила она, сунув телефон в карман болоньевой куртки.

– А это моя внучка, Ка-атенька, – ласково пропела старушка.

Степан, сидя на корточках, курил в жаркое устье печи и что-то тихо насвистывал. Рядом с ним лежал коричневый чемоданчик, похожий на чехол от музыкального инструмента.

– А Фёдор где? – поинтересовался я.

– Придётся, куда денется, – Степан не спеша раскурил потухшую сигарету, сплюнул табачные крошки в пол и продолжил: – Эх, и умалялись мы. Погода вишь как разыгралась... Сперва везли гроб на санях, а там снега не в пролаз. Пришлось верёвками обматывать и так тащить до самой ямы...

Степан мрачно затанулся.

– Дак ведь уронили, уронили гроб-то! – возмутилась баба Маша, стряпавшая что-то у стола. – Благо хоть не вывалилась Марфуша, прости господи. Небось, поддали ещё, как нести...

– Не шуми, баб Маш, – поморщился Степан, – и так на душе не шибко весело. Как не выпить, когда холод такой, до костей пробирает.

– О-ой, холод их пробирает, гляди-кась!

– Баб, ну чего ты, похороны ведь, – сказала внучка, явно меня стесняясь.  
Старушка набожно перекрестилась.

– Зато как я играл, как играл... – тихо молвил Степан, зажмурившись. – Ты хоть знаешь, что я играл, а, баб Маш?

– И дела мне нет, чего ты там дудел на своей свистульке. Только Марфушу зря потревожил.

– Дудел... Шопена я играл, баб Маш, Шопена...

Степан грустно улыбнулся и бросил окурочек в печь. В это же время с облаком морозного пара вошёл Фёдор и поприветствовал нас своей широкой улыбкой.

Когда мы сидели за столом, я поймал себя на мысли, что мне не безразлично наличие в кармане девушки сотового телефона. Нелегко устоять перед соблазном узнать о той части разломленной пополам жизни – без меня. Что пишут друзья и одноклассники в моём блоге? Не обернулась ли весть о пропаже страшным предположением о моей возможной гибели или самоубийстве? Не расклеивают ли теперь по городу листовки с моей унылой физиономией? Прежде ясная и твёрдая идея о необходимости бежать из содома, из железобетонного гетто, где, как мне думалось, всё прогнило и продано, вдруг помутилась. Достаточно было увидеть эту маленькую вещицу с кнопками, чтобы заболеть миром вновь, чтобы прошлое вернулось в сознание и тупо встало перед глазами. Девушка, как нарочно, снова вынула телефон, но её попытку найти связь предупредил Степан, сказав:

– И не пытайся, здесь не ловит.

– А где ловит? – спросила Катя.

– На улицу надо выйти, к столбу, – ответил Степан и поднял рюмку. – Ну, чтоб земля была пухом...

Все молча выпили.

Вьюга улеглась. Мерцали первые звёзды. Я стоял поодаль от столба и курил, пока девушка с кем-то разговаривала, часто повторяя: «Не приеду. Не приеду. Не звони...» «Наверно, любовная драма», – думал я, вглядываясь в деревенские сумерки. Хотелось попросить у Кати телефон, а главное, узнать, есть ли в нём Интернет. Но было как-то неловко, тем более что у неё драма. Когда мы возвращались обратно, я всё же осмелился и спросил:

– Кать, мне бы в Сеть выйти... У тебя случайно нет в телефоне?

– Есть. Возьми, – протянула она мобильник.

Я остался во дворе и стал жадно читать сообщения. На экранчике разворачивалась странная трагикомедия. Кроме меня, героями этой пьесы были студенты и знакомые. Кто-то оставлял мрачные посты с многоточиями, похожие на эпитафии, другие изощрялись в догадках о моей участи (убит, повесился, утонул, похищен пришельцами), но самым ценным из всего этого шлама были сочинённые в мою память стихи с кратким названием «Другу». «Да, – думал я, листая сообщения, – если ты не гений, не медийная личность или маньяк, лучший способ прославиться – это пропасть без вести или умереть...» Мне стало невыносимо весело в эту минуту. Я смеялся на всю деревню, наполняясь неизвестно откуда бравшейся энергией. Что-то мне, впрочем, подсказывало, что смех этот был недобрый. Но истерику, как известно, трудно остановить.

В избу я вошёл нахмуренный, пытаюсь скрыть нездоровое веселье, но, видимо, делал это плохо, потому что Степан сказал:

– Вот и хорошо, что мамке позвонил. Ехать тебе отсюда надо.

Это замечание меня немного смутило. Наверное, я плохой сын. Маме я так и не позвонил.

– Ну, помянули – и добре, – сказала бабушка, вставая из-за стола. – А тебе, сынок, я завтра вареньица принесу, чтоб выздоравливал. Или вон – Катю пошлю. Айда, архаровцы, уж и ноги, небось, не держат.

Архаровцы лениво засобирались, изобразив на лицах «ни в одном глазу».

Проводив гостей, я остался один на один с голыми стенами и живой дышащей печью. Начисто вытертый стол и пустота комнаты создавали иллюзию, будто здесь и не было никого, а я только что встал с постели. Но крепкий помоечный запах яиц, курица и перегара рушил иллюзию. Пахло человеком, поминками, неизвестностью тёмной деревенской жизни.

9

Следующий день я провёл в ожидании Катерины. Выходил во двор, чистил снег, смотрел в сторону забоки на галдевшее вороньё, но время шло медленно, словно бы издевалось надо мной. К вечеру я уже потерял всякую надежду и решил пойти спать, когда она меня окликнула, так тихо, что мне показалось, будто это скрипнула от ветра калитка. Я проводил девушку в дом, приняв из её рук пакет с вареньем и домашним хлебом. Хлеб оказался кстати. Продукты заканчивались, и я уже подумывал о том, чтобы пойти рыбачить с Фёдором на прорубь. Попрошайничать не хотелось, но бабушка, видимо, чуяла мою нужду и умело подкармливала.

Привлекательная городская девушка в моей избе, в безлюдной глуши, – воспринималась как чудо. Я чувствовал себя рыбаком, поймавшим золотую рыбку на крючок, боясь, кабы не сорвалась. Катя сидела на старом диване и сметала колючий снег с валенок. На моё предложение раздеться и выпить чаю сухо ответила: «Я ненадолго». В такой ситуации главное – не перестараться, не показать заинтересованности, какой-то надежды. А ещё лучше уяснить для себя, что через минуту она уйдёт и ничего не случится. Тебе не должно быть ни тепло, ни холодно от этого, нет, будет даже лучше в гордой тиши одиночества. Убедив себя в этом, я сел возле стола и закурил, решив молчать и наблюдать за её поведением. Стало как-то легко, забавно, безразлично.

Она сдалась первой и спросила меня:

– Ты действительно фольклор собираешь или так... отдохнуть приехал?

Я не стал отвечать сразу, медленно затянулся и выдохнул с дымом:

– Да, надо по учёбе.

– Ясно. Только у кого собирать – у Федьки, что ли? – она сдержанно улыбнулась. – Бабушка вряд ли что помнит, память уже не та.

Я почувствовал опасность разоблачения и сменил тему.

– Это неважно. Мне и так хорошо. Тихо тут. Может, выпьешь чаю? – осторожно спросил я.

Катя уронила рукавицу в натёкшую с валенок лужицу, потянулась за ней и – выронила другую. Мы засмеялись. «Давай», – согласилась она.

Когда я возился с кипятком, подкладывая сучья в дымившую печь, то вдруг чётко осознал, что скоро она уедет, а следом за ней, вероятно, уедет Фёдор к жене и сыну, а там, не дай бог, помрёт старушка, и я останусь совсем один в этом дремучем месте. Думать об этом было и больно, и сладко. В этих мыслях было что-то тревожное, страшное, но, вместе с тем, тяга к свободе, к преступному выходу из омата повседневности, к первобытной встрече со своим «я» – искушала до нервного сердцебиения. Именно теперь хотелось ухватиться за человека, за его голос, случайные взгляды, в которых жила тайна неведомых мне мыслей.

– Уговариваю бабушку уехать, – сказала Катя. – В городе мама, врачи... Только она ни в какую. Говорит, что здесь хочет умереть, по-божески...

– Тебе здесь страшно? – зачем-то спросил я, отыскивая в шкафу банку с сахаром.

– Почему ты думаешь, что страшно?

– Не знаю. Просто спросил...

Я разлил чай по гранёным стаканам, через потемневшие стёкла которых можно увидеть действительность, как она есть.

– Может, ты кого-то убил? – спросила она вдруг, без улыбки.

– Может, и убил, – спокойно ответил я, помешал ложечкой в стакане и сел напротив гостя за стол.

– Нет, серьёзно. Я где-то в кино видела, как один чувак зарезал свою жену и сбежал в глухую деревню.

– Любишь кино?

– Так, иногда, смотрю от скуки, – ответила Катя, пригубив крепкий горячий чай.

– А я не люблю, когда играют. Знаешь, эти фальшивые улыбки, поцелуйчики, монологи...

Катя снисходительно улыбнулась на мою реплику и возразила:

– Но ведь у человека должны быть какие-то интересы, хобби. Я, например, хендмейдом увлекаюсь. Это рукоделие по-нашему...

– Я люблю изучать людей.

Она внимательно на меня посмотрела.

– Любопытно. Значит, ты можешь составить психологический портрет человека... меня, например?

Я услышал её смех – тихий, шелестящий, как сухая трава.

– Легко. Я думаю, у тебя нелады с парнем, и ты пришла просто поговорить с малознакомым человеком.

– Я бы могла и с подругой поговорить, – продолжила Катя опасную игру в слова.

– Значит всё серьёзней, если ты пришла к мужчине, а не к подруге. Может, он тебе изменил...

На минуту стало слышно, как в подполе скребут мыши.

– Дурак, – сказала она спокойно, но жёстко; улыбка пропала. – Особо-то не обольщайся, ты мне не нравишься. Бабушка сказала продукты принести – я и принесла.

Она не делала никаких движений, чтобы уйти, а я был спокоен и доволен дерзким разговором с девушкой, которая непонятно почему сидит со мной рядом, пьёт чай и не уходит.

– Да, он мне изменил. Дай сигарету.

Я протянул ей пачку и смотрел, как она сердится, неловко закуривает, роняя спички и смешно шуря глаза.

«Теперь она расскажет мне свою историю», – решил я, поражаясь своему буддистскому спокойствию.

– Не подумай, что я пришла в жилетку плакаться. Считай это случайным разговором на полустанке. Знаешь, как это бывает... Встречаются два незнакомых человека, рассказывают друг другу всякую мерзость, а потом расходятся навсегда.

Я молчал, как стена, делая вид, что мне всё равно. В печи нервно потрескивали дрова, в комнате, тускло освещённой керосиновой лампой, было дымно и душно.

– Если б я знала, что он такой... Я понимаю, что глупости говорю... Хотя я не глупая.

– Ты можешь ничего не говорить.

– Вот скажи, чего ещё мужику надо, если его любят по-настоящему? – выпалила Катя.

– Не знаю. Я девушкам никогда не нравился, – забросил я новый крючок.

Катя по-женски окинула меня взглядом.

– Это потому что ты странный...

– Чем же я странный? – усмехнулся я.

– Не знаю... Сидишь, чай пьёшь, не пристаёшь.

– А если попробую?

– Что попробуешь?

– Ну... приставать. Здесь ведь на целые километры – никого. Федя не услышит.  
– Попробуй, – спокойно сказала Катя, пододвинув к себе столовый нож.  
Я нервно засмеялся и прикурил свежую сигарету.  
– Так что там с твоим парнем?  
– Ничего, забудь, – бросила она, встала и ушла в другую комнату.  
Я слышал, как она берёт со стола книги, листает страницы. Потом спросила:  
– Посоветуй что-нибудь почитать, филолог.  
– Не могу... – не сразу ответил я. – Не могу брать на себя такую ответственность. Представь, если бы ты спросила меня, каким оружием лучше застрелиться.  
– Не вижу ничего общего, – сказала она из спальни.  
– Напрасно.  
– Знаешь, – снова заговорила Катя, расхаживая по комнате и скрипя половицами, – если бы я и хотела ему отомстить... ну, ты меня понимаешь... то точно не с тобой.  
Я внимательно слушал и улыбался, почёсывая прокуренную бородку.  
– Ты считаешь себя особенным, думаешь, ты не такой как все. Уехал в эту грёбаную деревню – ешь, пьёшь, хоронишь старух. Не удивлюсь, если пишешь какой-нибудь длинный роман о том, как всё плохо и безнадежно в этом мире. Ты слабый и не хочешь себе в этом признаться. Сильный человек борется с обстоятельствами, а не бежит от них. Сильный человек зарабатывает деньги, воспитывает детей, ходит по бабам... Ты уехал, потому что боишься. Да, я угадала! Именно – боишься. А строишь из себя какого-то сраного героя!  
Она вернулась в комнату и села на диван, закинув ногу на ногу.  
– Тебе даже сказать мне нечего, потому что я бью точно в цель, – добавила Катя.  
– Слушай, это не мне, тебе романы надо писать, – посмеивался я. – Какой слог!  
– Тебе девушки не говорили, что ты скучный человек, тряпка?  
– А если я и сам так считаю?  
– Дебил...  
Она выпустила в меня все пули, и я видел, как по комнате струился лёгкий дымок остывающего револьвера. Я подошёл к окну и, глядя в деревенскую хмарь, театрально произнёс:  
– «Скучно, господа...» – сказал бы чеховский герой, глядя в окно.  
– Сигареты ещё остались? – пискнула Катя.  
– Последняя...  
Она легла на диван, укрылась болоньевой курткой и отвернулась к стене. Я слушал глухие рыдания и машинально подносил к губам гранёный стакан, в котором чая уже не было.  
– Послушай, Катя... если хочешь, то давай... Правда, я не уверен, что получится.  
– Давать тебе жена будет! Понял?! Философ! – истерично закричала Катя, вскочила с дивана и, захватив вещи, выбежала из дома.  
– Значит, так надо, – произнёс я вслух, и звук голоса как-то глупо повис в прокуренном воздухе.  
Я наблюдал в окно, как она возится с проволокой у калитки, как на ходу застёгивает куртку и поправляет сбившийся платок, как удаляется по рыхлой снежной тропе, оставляя за спиной чёрную звенящую тишину.

Катя уехала в город и забрала с собой бабушку. Первое время я даже скучал, правда, не по девушке, а по доброй старушке, к которой привязался, и с неприятным чувством представлял её пустую остывающую избу. Фёдор стал бывать реже. Когда заходил, то обычно садился на диван и распутывал длинную змеевидную леску. Иногда казалось, что он специально её запутывает и, распутывая, внутренне с чем-то борется и раздумывает, хлопая голу-

быми глазами. Словно, распутав леску, он делает что-то важное в своей жизни, словно бы сам узел находился не снаружи, а внутри него самого. Мне стало жаль Фёдора, и я незаметно сунул ему в карман последние деньги.

Пару раз мы с Фёдором ходили на прорубь. Он сосредоточенно склонялся над лункой и озарялся неведомой мне страстью. Когда я наблюдал за ним, он выглядел пещерным человеком – огромным, цельным, бессловесным. Впрочем, рыбалкой я занимался недолго. Однажды, в очередной свой приезд, Степан грубо отчитал меня за безделье и глупую философию, предложив, раз уж я решил тут остаться, помочь ему с продажей продуктов в местном райцентре, чтобы я смог заработать себе на хлеб. Схема вырисовывалась простая: каждые выходные я продаю творог, мёд, сало на рынке, а часть денег с продажи беру себе. Он обещал после работы высаживать меня на трассе, рядом с деревней, так как делать ему в «этой дыре» больше нечего. В город ехать не хотелось, а попробовать что-то новое в своей жизни – почему бы и нет.

11

Проснулся я рано, в пятом часу утра. С омерзением коснулся пятками ледяных половиц, почесал покрывшееся пупырышками тело и стал собираться.

Степан опаздывал. Закуривая, я думал о том, что так и не научился, находясь в деревне, не отзываться на приобретённый инстинкт времени. Моё естество живо откликалось на слово «опоздать» – куда-то, насовсем, или «остаться» – где-то, ни с чем, одному. И когда я по привычке напевал: «И времени больше не будет», – разгуливая по комнате, то лишь жалко улыбался, понимая, что время живёт во мне самом.

Я посмотрел в окно. Деревня стояла передо мной безмолвным ответом. Она отвечала на все вопросы, открывала все тайны на дремучем, косном, чернозёмном языке. Ответ был прост и безутешен: жить.

Над степью висело бесцветное холодное небо. Ветер вьюжил и сметал с дороги снежную крупу на обочины. Я изредка открывал глаза, видя жёлтые фары редких встречных машин. Степан хмурился, облокотившись на перемотанный изолентой руль, и слушал шансон.

Вскоре из-за холма показались крыши районного центра. Над селением ватными комьями клубился печной дым. Мы подъехали к рынку, находившемуся у главной и единственной площади, над которой возвышался похожий на снеговика памятник Ленину. Село ещё дремало, но рынок проснулся: щёлкал замками, шуршал пакетами, лениво переругивался и дымил дешёвыми сигаретами.

Степан показал место за прилавком и провёл инструктаж:

– Во-первых, – наставительно начал он, – отсюда никуда не отлучаться. Захочешь по нужде – скажешь вон Любке, что конфетами торгует, чтоб посторожила. Во-вторых, надо будет с людьми разговаривать, а не просто стоять. А то не купят ни хрена. Ну и, в-третьих, будешь замерзать, я тут тебе чекушку оставлю. Только смотри, чтоб никто не увидел, а то налетят стервятники: дай выпить, дай выпить. Хорошо меня понял?

– Ага, – послушно ответил я.

– Ты не агакай, ты запоминай. Если будут спрашивать, кто, мол, и откуда, скажешь – от Степана. А лучше помалкивай.

– Хорошо.

– Ну, давай, студент. Вечером заберу.

Я вытащил из большой клетчатой сумки продукты и аккуратно разложил их на прилавке. Местные жители не спеша проходили мимо. Некоторые останавливались и, не глядя в глаза, спрашивали цену. Устав повторять «недорого», «разменяю», «не горчит», я стал просто наблюдать за людьми. Люди были разные: одетые в тряпье старухи, розовощёкие бабёнки с младен-

цами на руках, бледные с похмелья мужики. Но была в этих лицах какая-то общая черта – отсутствие радости в глазах от совершения ритуала покупки. Не так было в городе, где люди шли в гипермаркет как в театр, как на парад – в лучшей своей одежде, парами, с сияющими лицами. И, покупая что-то новое, люди и сами обновлялись, становясь причастными к какому-то большому и могучему братству. Похоже, здешних жителей магия потребления обошла стороной: покупая вещь, человек словно бы возвращал себе что-то давно ему принадлежащее, – без чуда, без новизны.

– Слышь, красавчик, – игриво обратилась соседка по прилавку, – ты ещё долго греть её будешь?

– Что? – не расслышал я.

– Я ж видела, тебе Степан четок дал.

– А, это...

– Это, это! – грубо засмеялась Любка. – Не дай замёрзнуть человеку, будь другом.

Я достал «гревшийся» в рюкзаке четок и протянул Любке.

– Ты чего, ёптить? – усмехнулась неопределенного возраста женщина. – Ты за кого меня принимаешь! Сначала сам накати. Погоди, я тебе конфетку дам на закуску.

Я выпил из горлышка едкой теплоты и закусил памятной ещё с детства «Ласточкой». Любка тоже выпила и осипшим от водки голосом спросила, кивая на мой прилавок:

– Чё, не берут?

– Так, мало...

– А ты забей, тогда и брать начнут. Пробовала – помогает.

– Да мне и так всё равно, – искренне ответил я.

Потом Любка от нечего делать стала рассказывать, что живёт одна с маленьким сыном, что муж её был да сплыл, и уехал куда-то на север за счастьем. Что подруга заняла в прошлом месяце пятихатку и не отдает, что поскорей бы уже наступила весна и растаял постылый снег. Что не хватает денег на компьютер для сына, и поэтому она стоит здесь как чучело, украдкой ест конфеты, толстеет и ждёт вечера, чтобы «свернуться», купить бутылку пива и уставшей, разбитой, одинокой пойти к бабке за сыном. Что если не пить на такой работе, то можно умереть раньше, чем от водки, и что она рассчитывает дотянуть до пятидесяти, чтобы дожидаться внуков. Что в юности у неё был нормальный парень, а не как эти все, что она любила его, и они смотрели с крыши на звёзды, а потом его забрали в армию и убили на войне...

Любка рассказывала свою историю на одной ноте, не останавливаясь, не смущаясь, с интонацией застарелого упрёка. В том, что она была несчастна, виновато было всё, что двигалось или лежало присыпанное снегом: собственно, не таявший снег, рваные деньги, сунутые покупателями, неверная подруга, серое, дымившее к вечеру село, где она когда-то родилась и, вероятно, умрёт здесь же, под бабкиным ковром, а не на побережье Красного моря.

Когда мы свернулись, Любка предложила пойти к ней, чтобы выпить чаю и в тепле дожидаться Степана. Но я отказался, побоявшись чем-либо огорчить своего «начальника» в первый же день работы. Подъехав на ворчливом грузовике к назначенному месту, Степан с усмешкой принял от меня скудную прибыль и рассеянно, как сумасшедший осеннюю листву, сунул себе в карман.

12

Наконец произошло то, чего я внутренне побаивался и чего ждал, чтобы совершить окончательный эксперимент над собой. Я остался один в деревне.

Фёдор уехал в город мириться с женой и баловать по-детски говорливого сына, которого любил больше жизни. Сын, в отличие от родителей, был здоров. Он мог слышать многоголосую симфонию жизни, звучащую в его чутком сознании – майским дождём за окном, шелестом листьев, волшебными колокольчиками над кроватью; мог беззаботно картавить этой музыке

в такт, разбрасывать вещи и не думать о необходимости порядка, слабо мерцавшего в строгом и недобром «нельзя».

Одному в избе было жутковато, подбиралась тоска, и я отправился в хижину Фёдора. Хотелось увидеть, почувствовать его жилище изнутри, догадаться по оставленным вещам, чем жил этот человек, о чём думал.

Дверь в избу Фёдора была не заперта, замка не было. Вместо него в замочные кольца была вставлена осиновая палка, выскользнувшая от первого же рывка.

В жилище царил мерзость запустения. Комната напоминала берлогу. На окнах вызревал иней, на столе громоздились банки, бутылки, грязные тарелки с яичной скорлупой. Вверху из матицы торчали два зловещих крюка, на которые в старину вешали детские люльки и уставшие от жизни тела. Я прошёлся по комнате и зачем-то заглянул в печь, обнаружив там вместе с золой и смердящими окурками горелые тетрадные листы.

– Вот так-так, – подумал я вслух, заметив характерные столбцы, – да это стихи!

Мне и в голову не могло прийти, что Федя – глухонемой алкоголик и, в сущности, большой ребёнок, мог что-то писать, создавать из вещества жизни самое совершенное, на что способно человеческое слово – поэзию. Я пошуршал останками и прочёл первое, что можно было более-менее разобрать:

в беспамятстве кашу едят в дремучем селе  
компот, кутья, бидончик с извёсткой под стулом забыт  
гроб сыреет во тьме, не то, что забит  
народ уж навеселе...

Читая, я вспомнил поминки, заботливую старушку, угрюмого Степана, жестоко обманутую Катю... Дальше было сложно что-либо прочесть от корявого почерка и прожжённых мест, но уцелело окончание:

...я усну под столом, только в погреб полезу едва ль  
там светлее и суше, чем здесь между шкафом и печью  
закипит самовар, чьи-то руки сорвут вуаль  
и беззубый старик поперхнётся своею речью

Я стоял как вкопанный и не верил своим глазам: неужели это и впрямь сочинил Фёдор? Но корявый почерк был его.

Образ простака-Фёдора и эти строки про вуаль, от которых веяло сумерками Серебряного века, загадочный беззубый старик, погреб, в который зачем-то нужно было лезть, всё это никак не укладывалось в моей голове. Язык нашупывал, вспоминая, определение (которым не так давно я щеголял в университете), чтобы выразить теперешнее состояние: ког... когнитивный дис-со-нанс, – тяжело всплывало где-то в потёмках памяти. Я увидел на столе зелёную бутылку со знакомой жидкостью и машинально сунул её в карман. Уходя, наткнулся подошвой на что-то мягкое и с изумлением обнаружил на полу змеевидную леску, запутанную безнадежно. Я поднял леску, повертел её в руках, пытаясь распутать хоть один узел, плюнул, бросил леску под стол и вышел на воздух.

Всю дорогу до избы и после, придя домой, до самой ночи я повторял изречение Сократа. Один раз по-русски: «Я знаю, что ничего не знаю». А другой – зачем-то по-латински: «Scio me nihil scire». И как гармонично ложились эти древние слова на деревенскую тишину! Я забеспокоился о своём душевном здоровье, потому что, кроме всего прочего, мне хотелось, подобно

Диогену, с фонарем или, в крайнем случае, с зажигалкой отправиться по деревне на поиски Человека. Выпито и выкурено к этому времени было немало...

И действительно, пьяно размышлял я, лёжа на кровати, что я знаю об этих людях? Я сужу о человеке близоруко и небрежно, полагаясь на первые впечатления... Я встречаю по одежке и провожаю по одежке, с той лишь разницей, что во втором случае я одеваю человека сам из того, что есть в скудном гардеробе моего ума для ближнего. Воображаю себе ярмарочных кукол и думаю, что хорошо разбираюсь в людях. Добрая баба Маша, скрытный романтик Степан, гордая Катя, одинокая и стареющая Любка... Что значат эти слова применительно к сокровенным безднам их жизней? Ничего, – заключил я, туша очередной окурочек. Слова фальшивят, двоятся грязными созвучьями в моём сознании – и больше ничего.

Не глядя, я сунул руку под кровать, где хранились теперь мои книги, взял первую попавшуюся, открыл на случайной странице и прочёл: «Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены страсть и справедливость, всё ещё предпочитают одиночеству скорбное царство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты слепых тварей». Взглянул на обложку: Альбер Камю, «Бунтующий человек». Ага, стало быть, я выбрал одиночество, а не бунт. Не пошёл резать правых и виноватых, переворачивать культурные слои и припаркованные машины на спины, сдабривая всё это зажигательной смесью... Но разве одиночество не есть бунт? Разве это одно лишь бессилье, на что презрительно намекает автор? Не подрагивает ли в ознобе сама земля от того, что я лежу здесь совершенно один, никого не любя, ничего не желая, кроме того, чтобы в пачке оставалась хоть одна сигарета? Ибо, если пачка окажется пуста, бунтовать будет незачем, думать будет незачем и жизнь потеряет свой смысл... «Нет, не подрагивает», – ответил я сам себе, забываясь во сне.

Когда я уснул, духи выползли из печи, из грязных щелей, из сырого погреба, из тёмных углов – и стали танцевать. Когда знаешь всё или не знаешь ничего, остаётся одно – танцевать. Духи знали всё. Духи вальсировали по избе, склонялись надо мной и шептали в самое ухо: жить, жить...

### 13

От ледяной воды ломило зубы, стучало в висках, но пил я жадно, большими глотками, орошая высохшее нутро. Ну что ж, утеревшись грязным рукавом кофты, рассуждал я, – слепые видят, мёртвые воскресают, а Федя пишет стихи. Что же в этом странного?

С похмелья изба казалась чужой. Печь со вчерашнего утра была не топлена и сиротливо молчала. Несмотря на головную боль и отвратительный вкус во рту, душевно было легче. Может, потому что в окна просачивался утренний свет, прогнавший ночных духов. Или потому что тело просило тепла и привычных действий, необходимых для растопки печи. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, как-то заполнять время, выпавшее на твою долю до следующих выходных.

Растопив печь и пожевав хлеба с чаем, от нечего делать я стал бродить по дому. Вспомнились заученные прежде стихи, отрывки песен:

Через час уже просто земля,  
Через два на ней цветы и трава,  
Через три она снова жива...

О смысле произносимого вслух я не думал. Вспоминалось другое: октябрь, ночной вокзал, слепивший прожекторами. Нас трое. Мы стоим на мосту, курим «Космос» (потому что, по преданию, его курил Цой), посмеиваемся, сбрасываем пепел на мазутную спину бесконечно длинного поезда. Мы провожаем друга. Провожаем далеко, дальше самой Москвы, хотя любой

из нас не был и в столице края. И никто не понимал тогда, почему нужно разлучаться с другом, если он сам этого не хочет. Может, потому что его родители этого хотят (да, хотели) ... или потому что его фамилия Шакинис? Глупо как-то – родители, фамилия. И каждый сознавал в тот момент, что дороже дружбы ничего нет. И как бы трудно ни жилось тогда в стране, мы знали, что счастье не измеряется пространством или сытым желудком...

Только самых близких —  
Друзей и кошек,  
Собак и чёрных —  
С белыми полосками.  
Смеяться в поле,  
Шататься на воле,  
Играть в весну —  
Дурачками подростками...

И где теперь мои друзья? Где их длинные волосы и ясные голоса, наивные стихи, которые мы читали друг другу на лестничной площадке? Печальнее всего то, что я знаю и где они, и почему они забыли свои стихи. Каждый из них по-своему «упаковался», встроился в систему современной жизни: остриг волосы, нашел работу, родил ребенка, развёлся с женой. Быть может, я просто завидую и боюсь жить так, как они. Не знаю...

Я шёл по деревне бесцельно, не выбирая пути. Было приятно слышать хруст своих шагов, не видеть ни чужих следов, ни прокатанной машинами колеи. Привычно тускло светило солнце, и меня радовало, что я разучился членить сутки на промежутки времени: мог встать ещё до рассвета, а мог проваляться до самого вечера – некуда было спешить.

В деревне так просто кричать в пустоту, не оглядываясь, не боясь, что чьи-то праздные уши сочтут тебя сумасшедшим.

- А-а-а! – срывалось вороньё с веток.
- А-а-а! – вторила эхом степь.

14

Неделя промелькнула как смутный сон. Продуктов, купленных Степаном, хватило ровно до субботы. Вместо сигарет уже пару дней я курил цейлонский чай, завернутый в страницы «Бунтующего человека». Подружился с мышью. Заприметив её под столом, стал подкармливать. Мышь осмелела и несколько раз выбегала на середину кухни с вопрошающим видом. Потом она мне надоела, и я выбросил её за хвостик в сугроб. Начал писать воспоминания. Исписал толстый блокнот, а потом сжёг в печке: не понравилось. Я подумал, что не прочь бы теперь встретиться с Любкой и послушать её путаную речь.

Собрав вещи в рюкзак, постояв некоторое время в молчании в тёплой избе, – так прощаются с покойником, – я запер за собой дверь, прикрыл хлипкую калитку и пошёл к трассе.

Валенки вязли в снегу, во рту было как в заварнике, который забыли очистить и вымыть. Продав два часа на трассе, я пришёл к выводу, что Степан не приедет. Было всё равно, но в деревню возвращаться не хотелось. Я стал ловить встречные машины. Сквозь мой внешний деревенский облик, видимо, просвечивал чужак, поэтому местные не останавливались. Я стал здорово замерзать и делать странные телодвижения, похожие на шаманский танец. Вскоре, проехав сначала далеко вперёд и остановившись, на задней скорости подползла вишнёвая «Нива».

- До Горюново подбросите? – жалобно просипел я.

– Подброшу, садись.

Водителем оказался молодой батюшка с модной рыжей бородкой и в рясе. В салоне было тепло, чем-то приятно пахло, должно быть, ладаном. Я мгновенно разомлел и зажмурился от удовольствия.

– Здесь в такую пору и замёрзнуть можно, – сказал батюшка, выруливая на трассу. – Когда метель, машин почти не бывает. Да и местные редко чужих берут, боятся.

– Это я понял, – грустно улыбнулся я на слово «чужих».

Пока мы ехали, я разглядывал маленький «иконостас» на передней панели, который вместе с подушкой безопасности на иных машинах, вероятно, должен был оберегать людей от смертельных аварий. Было забавно думать, что когда-то икона с трепетом наносилась на стены катакомб, затем перекочевала в великолепие византийских храмов, а теперь вот приклеивается на автомобильные панели.

– От благочинного еду, – начал улыбочивый батюшка, видимо не прочь побеседовать за рулём. – Говорит, денег мало привожу. А у меня приход – полторы старушки, какие там деньги. Сам-то еле концы с концами свожу, да и матушка на сносях. Вот-вот пятого родит.

Батюшка рассказывал с таким весёлым видом, будто ему благочинный вручил митру, а не отчитывал за небрежное ведение приходского хозяйства.

– Перестали люди в храм ходить, – сожалел священник. – На праздники только, да и то – пьянь одна. Вот протестанты – те молодцы. К ним и молодёжь тянется. В клубе соберутся – гитары, танцы, веселье. Есть на что посмотреть. А в храме – какое веселье...

– Так они ж еретики, – решил я поддеть батюшку.

– Да хоть бы и еретики, зато не пьют и работают. Я втайне от благочинного молодёжное собрание устроил. Ребят из школы привёл. О нравственности говорили, пели. В общем, с пользой провели время.

Батюшка рассуждал современно и здраво, деловито вёл автомобиль... И всё же – нет, не ладаном пахло в салоне, принялся, понял: хорошим мужским одеколоном. А за окном в белой степи мне чудилось бряцанье кадил, мерещились луковки церковей, погосты, странники в лаптях. И то, как странники заунывно тянули духовный стих, сыпали в мои ладони спелую землянику, кланялись в пояс, видел я уже во сне...

– Ну всё, приехали, – нарочито громко пробасил священник. И я очнулся.

Мы стояли на площади, в центре села. Рядом, в чёрных клубах дыма, рычал, тужился и нагребал снежные кучи вокруг площади гусеничный бульдозер. Выйдя из машины, я почувствовал, как невидимые ледяные змеи пробираются под одежду, и невольно ссутулился. Подумал: «Градусов тридцать, не меньше». Батюшка, колеблясь, благословлять ли меня по чину, предпочёл светский жест и нерешительно протянул руку. Я поблагодарил его, надел на плечи рюкзак и отправился в сторону рынка.

Чем-то встревоженная Любка встретила меня словами:

– Привет! Степан звонил. Сказал, что перезвонит...

– И всё?

– Всё. Сказал, что перезвонит.

Я не сразу догадался, откуда ему знать, что я вообще сюда приеду. А потом сообразил: ну да, куда же я денусь без продуктов.

Любка заметно прихорошилась. Вместо платка на ней была меховая шапка, открывавшая золотые серьги на бледных ушах. Глаза были тщательно подведены, губы ярко накрашены. Говорила она не так бойко, как прежде, а словно бы нехотя, и часто отводила глаза.

– Замёрз, поди. Хочешь? – застенчиво показала она миниатюрную стальную фляжку.

– Хочу.

Я не спеша отпивал из узкого горлышка, – внутри оказался коньяк, – закусывал горячим пирожком и с лёгким сердцем посматривал на голый прилавок. Было приятно ничего не делать,

ни за что не отвечать, никому не быть должным. Беспокоило только отсутствие Степана и его обещанный звонок.

– Ну что, согрелся? – загадочно улыбнулась Любка, и тут же у неё запищал мобильник.

Загадочность вмиг исчезла, когда она визгливо, по-базарному заговорила в трубку: – Да! Приехал! Здесь он! Даю...

Любка протянула телефон. Звонил Степан, но говорил словно бы кто-то другой, сдавленным голосом:

– Значит так, студент... эта... В общем, Федька повесился. В туалете его нашли, значит... на батарее он... Поэтому я не смог. Ты там... эта... У Любки, что ли, денег займи. Мне пока некогда. Давай...

## 15

В зале у Любки без звука мерцал старенький телевизор. Она включала его машинально, когда приходила домой. Узнав, что произошло, поохав и повздыхав немного, Любка, как умная баба, ни о чём меня больше не спрашивала. Пока я тупо смотрел в экран, она возилась на кухне: хлопала дверцей холодильника, собирала на стол. Сына в этот вечер она оставила у бабки. Я слышал, как в ванной зажурчала вода, потом раздался её голос:

– Пойди поешь, готово уже.

Я не отозвался.

По телику показывали голливудский фильм. В детстве, когда у телевизора пропадал звук, я сам придумывал диалоги героям. Теперь мне захотелось поиграть в ту же игру. На выстриженном газоне в обнимку сидела молодая парочка:

– Ты меня любишь, Стив?

– Конечно, дорогая.

– А ты чистил зубы «Кометом» сегодня утром?

– Но, милая, «Комет» – средство для раковин. Я чищу зубы «Колгейтом».

– Ну да, как я глупа. А ещё читаю Бердяева перед сном...

Занятие быстро наскучило. Я поднялся с дивана и стал осматривать комнату. На стенах висели ковры. Чуть ли не полкомнаты занимал пыльный сервант, за стеклянными створками которого виднелись тарелки, рюмки и нелепо поставленные на них фотографии родни. «Неужели это тот самый муж, уехавший за счастьем?» – рассматривал я угрюмое низколобое лицо с хитрыми щёлками вместо глаз. А это, наверное, её сын. На меня смотрел белобрысый мальчуган в костюме мушкетёра и смешном новогоднем колпаке. Вот вырастет в этом селе, тоже станет угрюмым и вместо глаз появятся щёлки...

Любка вошла тихо, незаметно. На ней был розовый китайский халат, выделявший соблазнительно тяжёлые бедра. Она делала вид, что смахивает с волос остатки влаги. Она хотела нравиться.

– Я уж думала, ты поел, – лукавила Любка, вороша голову полотенцем.

– Что-то не хочется, – ответил я вяло.

– Ну, пойдём хоть чаю тогда выпьем.

Закурив на кухне, я заметил, как аккуратно, по-женски был сервирован стол. Появились чашечки, блюдца, салфетки, мельхиоровые ложечки. Всё это она приготовила для меня. Ей, как когда-то в юности, хотелось понравиться, угодить мужчине, чтобы на неё смотрели как на женщину, а не как на Любку-торговку. Я не фальшивил, когда мельком взглядывал на оголившееся колено или приоткрывшуюся полную грудь, которую она тут же закрывала. И, как всякая одинокая баба, она ловила, угадывала мои взгляды, даже если стояла ко мне спиной, и бережно клала в заветную женскую шкатулку.

– Ты, чем курить, варенье лучше попробуй. Сама варила.

И я пробовал варенье, закусывая пирогом и запивая чаем. А Любка, глядя на меня, сияла. – Федя-то этот другом тебе, что ли, приходился? – осторожно спросила хозяйка, сделав грустное лицо.

– Ага, другом, – нехотя ответил я, отхлёбывая из кружки.

– Беда-то какая...

А я отчётливо сознавал, что ничего не чувствую, никакой беды. Что если я и задумывался, почему это могло произойти, то на ум лезло лишь «наверное, так надо» – мантра, рождённая в деревенском подполье; что меня теперь больше беспокоит волшебный мир, кроющийся за китайским халатом, нежели диалектика Фединой жизни. Беззубый старик, вуаль, прорубь, детское улыбающееся лицо – вот и все воспоминания...

– Ты допивай. Я тебе на полу постелю, – почти шёпотом сказала Любка и ушла в зал.

Мне не пришлось спать на полу. Не помню, как так случилось, но я увидел «волшебный мир» во всей его трепетной наготе: как скользнул розовый халатик на шершавый пол, как почувствовал губами тепло её живота и мелкую дрожь голодного женского тела...

После она гладила меня по голове, лежавшей на её теплой груди, утирала мне слёзы и матерински шептала: «Ну, чего ты... Ведь так было хорошо. Друг твой теперь на небесах, с ангелами. А тебе жить надо, жить...»

16

### *Пост из блога Катерины*

Сажу за ноутбуком, согреваюсь горячим кофе и глажу хитрющего в мире кота. За окном крупными хлопьями идёт снег. Чудно! А ещё неделю назад я была в дремучей глуши, где разве что не воют волки, о чём и хочу вам рассказать.

Я поехала в деревню, чтобы забрать бабушку в город. Бабушка у меня старенькая, больная. Мама наказала какими угодно способами выманить её оттуда. Пожилым людям, знаете, свойственны предрассудки. Они хранят старые фотографии, заплесневевшие платья и прочее старьё как некие сокровища. А меж тем, не замечают, что о них заботятся дети и внуки, и не понимают, что в избе с прогнившей крышей и щелями в указательный палец жить опасно. Бабушка до сих пор порывается от нас сбежать и боится ходить в казённый туалет, потому что, дескать, оттуда «всё слышно».

Приехав в деревню, я оказалась в тёмном средневековье. Бабушка велела смыть всю косметику (ибо негоже перед покойницей), переобула меня в валенки и дала старый платок на голову. Да, забыла сказать, что я сразу же попала на похороны. Умерла старая подруга моей бабушки. И мне теперь трудно представить, что я провела какое-то время в этой глуши, с гробом, который волокли до кладбища пьяные мужики и, не поверите, роняли его несколько раз с саней. О безобразных поминках я вообще молчу. Мужики пили самогон и закусывали варёными яйцами. Ужас! В избе было накурено так, что хоть топор вешай. Ну, теперь вы немного представляете, куда я попала...

В этой деревне я встретила одного парня. Он сказал, что приехал собирать фольклор, но я ему не поверила. У него была борода, от его толстой кофты ужасно пахло потом. Честно говоря, до сих пор не понимаю, что он там делал. Он мнил себя каким-то затворником. В его доме я обнаружила много книг (поминки справляли у него), и на деревенского алкоголика он не был похож. Не думаю, что его хватит надолго. А, впрочем, он мог бы послужить интересным персонажем для рассказа. Так что держайте, писатели! Вопросы с подробностями пишите в личку.

P.S. А ещё я решила, наконец, перебраться с моим парнем в Питер! Да-да, в Питер. Неужели я свалю из этого города... Билетики на самолёт красуются между двумя яблочками

на столе и манят адски. Я уже затрепала путеводитель по северной столице и отметила, куда мы пойдём в первую очередь. Лиза, думаю, ты догадываешься, о чём я... ха-ха!

17

Нет ничего тоскливее бледного холодного утра в чужой квартире.

Я неслышно выполз из-под одеяла, подобрал с пола вещи, оделся, не умываясь, с оглядкой на смятый бугорок. Лицо женщины было расслабленным, некрасивым. Рот был чуть приоткрыт, и в несвежем углублении виднелась, поблёскивая, дешёвая металлическая коронка.

«Люба, Люба...» – шевелились искусанные ею губы.

Скорым шагом я направился в сторону трассы. Меня слегка подёргивало и пошатывало. Не было желания думать о том, что это, температура или больные нервы. Возможно, то и другое. Ленин, возвышавшийся над площадью, указывал в правильном направлении – в сторону обетованной трассы, от которой я чего-то ждал, за которую цеплялся, как за последнюю возможность выбраться из подполья.

Машин не было. Дорога была пуста и уходила широким заснеженным ковром в город моего детства. Теперь я сознательно хотел удрать от всей этой тишины – припасть к телевизору и бессмысленно тыкать кнопки до изнеможения. Или уткнуться в пустую книжку с пёстрой обложкой и зачитать до дыр (и перечитать). А потом сесть переписываться со всеми, знакомцами и незнакомцами. И больше-больше этих идиотских смайликов, прикрывающих слабоумные фразы, больше позитива и громкой музыки... Отрекаюсь! Отрекаюсь от тебя, тишина!..

До въезда в город меня подбросил приبلатнённый парень на «шестёрке». Всю дорогу в салоне шумело радио. Водитель, надвинув кепку на глаза, курил одну за другой и лишь в конце пути зачем-то спросил меня, не прячусь ли я от ментов.

С южной стороны город смотрел суровым урбанистическим пейзажем. Над одинаково серыми пятиэтажками и тополями возвышались некогда горячие и пульсирующие, а ныне пристыжено молчащие заводские трубы. Город держался заводами, гордился заводами – когда-то. Когда заводы были градообразующим очагом, системой, богом. Вместе с трубами остыли и людские надежды. За мной наблюдали хитрые глазки пацанов, кучкующихся у подъезда:

– Смари, Колян, нарик, чо ли. Давай окупим...

В городе не было страшно. Даже местные гопники, которые в прошлом оттаскали меня за волосы и отбили бока так, что я заплывал тротуар кровью, казались хорошими, но несчастными людьми. В этих ребятах, по колено стоящих в семечной шелухе, нервно трепещет сердце и жаждет осуществления немедленной правды: «Правда в том, братишка, что ты неправ, а таких не должно быть в нашем районе. Получай...»

Словно подросток я задышался влюбленностью в свой город. Хотел обняться и поговорить с каждым встречным, спросить – как дела, что нового... На меня смотрели как на помешанного. Девушки морщились, старики брюзжали, пацаны напрягали шейные жилы.

Я остановился у теплотрассы, где блестела небольшая лужица и мирно сидели нахохлившиеся голуби. Склонившись над водой, я болезненно всматривался в мутное отражение, где не то улыбался, не то собирался заплакать маленький мальчик, чем-то похожий на меня. Когда рябь прошла, я отчётливо увидел шапку-ушанку со звёздочкой, детское пальтишко, большие удивлённые глаза... А потом пришла темнота.

Стоит ли рассказывать, как я отлёживался в родительском доме, как мама водила меня к психологу, и я, чувствуя вину перед ней, обещал ходить на каждый сеанс. Как взял академический отпуск и удалился из социальных сетей, чтобы никто не приставал с вопросами. Как устроился консультантом в магазин бытовой техники, но вскоре уволился, не поладив с началь-

ником. Как работал дворником и сметал осеннюю листву на обочины, любясь на то, как раннее солнце освещает пустоту ещё не проснувшегося города... Ну вот, сам того не желая, рассказал всё. Что ещё добавить... Не так давно я стал снова думать о деревне. Но – не как раньше. Теперь я общаюсь с ней на расстоянии.

Деревня – есть тайное прибежище моих мыслей, сумрачное и дикое, куда я часто сбегая, закрыв глаза, и тогда в заснеженных окнах моей избы загорается свет.

## Пожилой мальчик

Саша рано стал понимать, что мир, в котором он родился, несправедлив. Он ползал по обшарпанному полу студенческого общежития, используя мамины конспекты в качестве случайных холстов для своих рисунков. Саша рисовал грузовики, солнце и папу... Папы не было. Он тихо спивался в глухой сибирской деревне и разводил кур. Но рисовать папу было приятно. Особенно хорошо получались большие печальные глаза и армейская тельняшка. Саша запомнил папу именно таким.

Потом к маме стали приходиться гости. Они лохматили Сашины волосы, говорили «мужик растёт», давали конфеты, и, когда мама отправляла его к старой вахтёрше поиграть, занимались уроками... Саша не любил вахтёршу. А та сладострастно щипала его за пухлые щёки и воняла лекарствами. Когда Саша пошёл в школу, он стал ненавидеть людей. Однажды к нему подошёл толстый мальчик из третьего класса и спросил:

– У тебя есть папа?

– Есть, – ответил Саша.

– Врёшь, нету у тебя никакого папы. Мне пацаны сказали, что ты с мамкой живёшь.

После этого разговора Саша начал стареть.

Учась в пятом классе, на уроке труда он смастерил миниатюрный памятник из картона, указав на нём свои инициалы и дату смерти. Пацанам работа понравилась, но трудовик по прозвищу Чеснок поставил ему двойку и сказал: «Ты больной ребёнок, Саша. Из таких вырастают убийцы и маньяки». Саша дерзнул подарить свою поделку учительнице по литературе, которую любил, но та лишь прослезилась и долго гладила мальчика по квадратной голове, отчего у неё неделю болела рука.

В старших классах Саша влюбился в отличницу Олю. В её, цвета мартовского льда, чернила, в её бледную прозрачную кожу, сквозь которую просвечивали синие жилки из тех же чернил; в её хрупкие пальчики, готовые хрустнуть в любую секунду от крепкого нажатия карандаша.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.